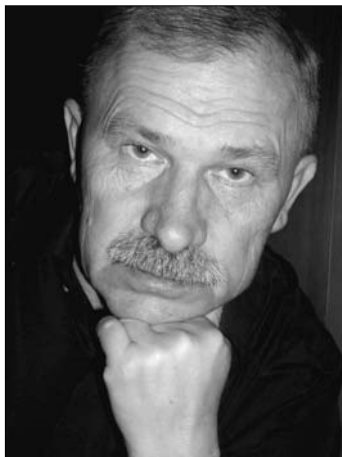


НИКОЛАЙ ИВЕНШЕВ



## МАРЬЯ МОРЕВНА

РАССКАЗ

Свою Аню он отличал от других женщин по цоканью каблучков. Она всегда носила шпильки. И объясняла с жаром:

— Разве это женщины? Мамонты! Бульдозеры! На модных утюгах не идешь, а почву утрамбовываешь. На шпильках — по воздуху летишь.

Она широко растопыривала руки и от этого действительно становилась похожей на птицу.

В молодости цоканье ее каблучков было мягким, осторожным. Ныне же, увы, решительным, как будто она, отодвинув зеленоглазый калькулятор, готовилась к серьезному бухгалтерскому отчету и по старинке щелкала на темных счетах.

В ритме ее походки и сейчас можно было угадать настроение. Вот она взлетает по лестничной клетке: “Цок-цок-цок”. Это — мелодия. Значит, все прекрасно — на улице блестит солнце, проткнулись почки на деревьях, и ее начальник, главбух Филимонов, в связи с теплом погрузился в летаргию.

Было и другое цоканье — усталое и раздраженное. Аня, кроме всего прочего, была и природным барометром, чутко реагировала на капризы природы: на улице пасмурнеет, и у нее лицо с припухлыми веками, в теле вялость и сонливость. А если на воле сияет все, ветерок скользит по телу и лепит к ногам юбку, то она легуча, светла, так дробно каблучками прищелкивает, хоть садись и спишивай музыку.

---

*ИВЕНШЕВ Николай Алексеевич родился в 1949 году в селе Верхняя Маза Ульяновской области. Окончил Волгоградский пединститут им. А. С. Серафимовича. Автор книг “За кудыкины горы”, “Портрет незнакомки”, “Казачий декамерон” и других. Член Союза писателей России. Живёт в ст. Полтавской Краснодарского края.*

Но, несмотря на сбивы в настроении, от нее всегда пахло свежими сосновыми стружками. Запах детства. Дед у Рублева был столяром. Дед дедом, но почему от нее так пахло сосновой смолой? Загадка!

Вот и теперь, когда она нагнулась над кроватью, Рублев с жадностью втянул хвойный воздух, и в голове все полетело. Она склонилась еще ниже, касаясь пальцами подушки:

— Всё в тумбочке. Пей-жуй, Копейкин. У меня — отчеты. Не обессудь. У Филимонова опять полицейский зуд, даже цифры нохает. В углу яблоки, на нижней полке — пирожки, хавай!

И она сдула с глаз челку, словно челка была тем прилипчивым “главным бухалом” (ее выражение) Павлом Петровичем Филимоновым. Все — была и нету. Каблучки выбивали по длинному коридору полное равнодушие.

Он опять привычно уперся глазами в капельную систему. Кап-кап... Это жизнь скудеет с каждой бисеринкой, жизнь тает, как жидкость в бутылке.

Рядом качнулась медсестра. Почему у нее французское имя Люси? Люси — кровная родня своего главного медицинского инструмента. Лицо Люси никогда ничего не выражало. Хотя нет, однажды он видел Люси за листанием скользкого журнала, насыщенного снимками бройлерных парней и девиц. Девушка за этими страницами побелела еще больше.

Медсестра покрутила барашек на прозрачной пробирке и скользнула глазами по лицу Рублева.

Его-то Аня лучше всех жен, всех женщин и девушек. Врут, что красота глупа. Аня была драгоценным сплавом из ума и красот. Когда они познакомились, Рублев долго не верил в свое счастье. Он никак не мог взять в толк, что в руках его оказался небесный хрусталь, оживленный карими глазами. Сравнение, конечно, не из удачных, ну, хоть какое. Однажды в Доме книги он листал альбом репродукций “Женский портрет XVIII века”, и случилось такое, — он даже вздрогнул от неожиданности. И книга шлепнулась. Под названием “Портрет незнакомки” сияли ее глаза. И нос — копия, и — губы. Одежда, естественно, старинная. Его кареглазка, его.

Он рассказал про схожесть жене. Аня загадочно улыбнулась, сжала веки и потерялась носом по его собственной щеке, как будто глупая собачка.

Аня любила разгадывать всякие загадки, шарады, головоломки. И вот — чудеса ребячества: после любви она водила ногтем по спине: “Угадывай, читай, что я записываю”. И он шептал по слогам: “Де-не-жка моя, зо-ло-тая!”

— А ты, а ты — Анна — королева Франции, задушу-у-у!

Он (надо же, какие дурацкие шутки) легонько брал ее за горло. Она всерьез пугалась, почему-то показывала на свое плечо, на единственный свой дефект. На плече — незагораемое пятно вроде паучка. История пятна, как во французском романе, удивительна. Ее беременная мама разбирала на военном складе противогазы и напугалась паучка, прилипшего к гофрированной трубке. Родилась Аня, и паучок отпечатался, как на фотографической пленке — скобочка вроде брошки. Даже пикантно.

Вечно счастливым не проживешь. Где-нибудь да укроется поруха, как тот паучок в пыльном складе. Жили в блаженстве, но какое-то тревожное сосущее существо в нем нет-нет да схватит. И вроде твердит: “Так не бывает! Таких женщин в природе нет. Не может быть. Ведь все — разговоры, анекдоты, книги, кино — говорили о другом. В сахаре — перец. В меде — деготь. В правде — ложь”. И кто это твердит, какой завистник?!

Он заглядывал в Аютины глазки, и в них, не всегда, нет, не всегда, но изредка все же видел фальшь, слабозначимую хитрость.

Так абсолютно здоровый человек в черный час, поглядев на себя в зеркало, вдруг отшатнется, увидев смертельную бледность. И взвешиваться. А там — недостаток веса. Паника: точно — рак. Ему бы со всех ног мчаться от зеркала, но отражение уже ухватило мнимого больного и теперь будет пихать его по врачам.

Фальшь, да, фальшь! Все они одним миром мазаны. И Аня. От этой мысли хотелось стукнуться своей башкой о стенку или по сильнее сжать пальцы на ее порочном горле.

Постепенно Рублев втянулся в эту разрушившую жизнь игру, в эту химеру. Он стал придирается к ее крохотным задержкам с работы и к якобы

расточительству — сорит деньгами по мелочам, к пегой челке, модной в те годы, к духам. От духов смердило похотью. Аня морщилась, терпеливо объясняла задержки с работы и все исправляла — выкидывала духи, перекрашивалась. Из нее можно было вить веревки. Но это еще подозрительнее. Он почему-то решил, что она ослабнет и раскается, выдаст себя.

Жизнь казалась грязной. И Рублев сам понимал это. Чем больше он шпынял жену, тем больше было ему самому. Больше и слаще. Только любимых пытают с упоением, других — с канцелярским унынием.

После “выучки” или, точнее, “отчитки” он делался угрюмым, нутро ныло, как отсиженная нога. И в конце концов его стала мучить неутолимая жажда. Никак ничем не мог он запитать горечь, во рту — великая сушь. Рублев, почуяв неладное, записался к врачу. Когда пришли результаты анализов, веселый доктор Роман Васильевич выдохнул ему в лицо: “Диабет!” Потом доктор тот, с выющимися бакенбардами, смешался и стал успокаивать: “Сейчас уйма лекарств. Они из могилы вытащат. Сорбит, фруктовый сахар, шприц-ручка”. И ввернул, словно выскочил из книги какого-нибудь Писемского: “Не извольте беспокоиться, доживете-с до самой старости. Как Ной! Знаете, сколько Ной прожил?”

Рублев застыл. Он еще не все понял.

— Библейский Ной плодотворно прожил девятьсот пятьдесят лет. И даже от Потопа спасся. Так-ссс! — подытожил доктор.

Милая, золотая, единственная, королева душистой Франции и задумчивой России! Когда он объявил ей о своей опасной хвори, Аня тут же жалостливо опустила глаза, и все же на миг он увидел там, в самой глубине глаз, частичку радости. Она ничего не умела скрывать. Рублев же еще четче увидел притворство. И еще — удовольствие. Может, и это — драгоценный сплав?

Он не выдержал и хлестнул ее по лицу, совсем по-скотски, а когда сам же, испугавшись, поднял ее с ковра, Аня улыбнулась: ничего, ничего — нервы, ничего не произошло. От нее крепко пахнуло сосновыми стружками.

— Правильно! — отчеканила Анна. — Ты болеешь, надо чтобы все вокруг чахли. Закон природы!

Этой же ночью, после какой-то надрывной любви, она выскочила из-под простыни, подлетела к книжному шкафу. Оттуда — на цыпочках, виляя бедром, как танцевала, к нему. В руках — бумажная карточка.

— Теперь, милый мой, я тебя переименовала, как Ленинград в Петербург. Ты теперь не Рублев, а Копейкин. И по этой причине дарю календарь. По нему, как по графику, будешь ко мне прикасаться. Я бухгалтер, точность люблю.

— А я.. я.. я что, маршрутный автобус? Железка? — задохнулся он.

— Именно. Металлический лом! Жаль, пионеров упразднили!

В ночных сумерках Аня смотрела на него твердо, без фальши. Он вдруг понял, что всегда, всегда, всегда, даже когда они, прижавшись, катались на придурочном мотоцикле “Панония”, когда он совал ей в рот сушеную землянику, а она понарошку кусалась, когда на вокзале в Тихорецке он, боясь пошевелиться, держал на плече ее голову, всегда, всегда она врала. Даже если у нее и нет никакой посторонней любовной утехы, все равно она безбожно врала.

Жизнь после анализов, табель-календаря для механической любви, пощенины стала другой, совсем другой. Еще горше. Рублев превратился в желчного ворчуна, напрочь забыл о нижнем ящике стола, в котором томились невероятные чертежи. Там почти все закончено. Ну и что? Дочертит — ахнут в Москве: провинциальная голова. Дом Советов!

Открой он хоть новый закон Ньютона, все равно этим не поправишь. Свой диабет он теперь ощущал, как свое я. А лицо, кожа, руки, ноги — маска для диабета. Диабет обжигал грудь, как будто его плотно к костру подтащили и держат, не вырвешься. Лекарства помогали на время, зато потом разбивали Рублева и отупляли.

Однажды он поехал на объект. Строили дом для офицеров, от которых внезапно отказалась армия. И под лестницей в цементной пыли он нашел

уворованную банку с краской. В сердцах он лягнул ее. Банка ничего, катнулась, а на ноге — синяк. Распухло. Вскоре чернота поползла вверх. Раньше такую болячку звали антонов огонь. Медицина все же была красочнее. Доктора, как соревнуясь, прописывали то одно, то другое — прямо противоположное. Меняли кровь, пока не отпилили ногу.

Можно было прыгать на костылях, но в припадке злорадства Рублев приказал Анне: “Вот и ладненько! Постепенно я уменьшаюсь. Вначале ногу отчикали, потом другую сломят, потом руки отсекут турецким ятаганом! Ладненько. Коляску покупай! Вот и адрес я нашел, вроде на Вишняхках, в павильоне за мебелью”.

— Какие вы, мужики, трусые! — возмутилась жена. — Из вас только скорпионы молодцы. Они, чуя смерть, жалят сами себя.

Так вот она чего хочет? — изумился он. И не поверил.

— От своего яда гибнут. Безмозглые твари, а сколько благородства! — Тут же она покрасилась белыми пятнами и потерлась носом о щеку.

Она все еще могла быть нежной. А может, распирала похоть? Бухгалтера и патологоанатомы самые страстные люди. Днем им надоедает мертвечина, цифры, трупы, так они ночью скидывают весь жар. А самые вялые люди — художники.

Про членистоногих он знал только одно, из детских книг, из Майн Рида: от скорпионов в пустыне отгораживаются пеньковыми веревками.

Куплена инвалидная коляска на шинах из натурального каучука, куплены и костыли. Ковыряй земную твердь, Рублев!

Вот она умчалась со свистом и цоканьем своим, беги за этой пружинкой. Может быть, еще что-то выяснишь? Может быть, и надо было бежать? Лягнуть единственной ногой присосавшуюся к сердцу капельницу, прыгнуть на коляску. За ней! За ней!!! Да нет. Только не сегодня, она сегодня особенно холодна, что-то недосказанное в этой бравате: “Пей-жуй, Копейкин”. И угрожающее.

Самого главного он ей так и не сказал. Никогда, никогда не осмелится. Он, элементарный ревнивец, мавр, Отец без ноги. Живешь на вокзале в ожидании какой-то другой, новой жизни. А ее и не будет, другой-то. От дикой ревности диабет произошел. От нее же и ногу отчидали. Инженер, а логики простой не понял, не разобрался в схеме.

За плечо трясла Люси. Ах, да? Капельницу еще не отцепила.

Люси вежливая, поджала выкрашенные темно-красным губы.

— Вот вам жена... Спешила... Вот!

В руках у Люси открытка. На новогодней открытке снегирь со снегирихой под елочкой. Художник думал, что эти две птички целуются. Готовятся клонуть друг друга — вот что. На обратной стороне открытки танцующий Анин почерк: “Знаешь что, Копейкин?! Мне сказали, что к Новому году тебя выпишут. Лучше тебе поехать сразу к матери. Я же не могу возле тебя сидеть. У меня работа, встречи...”

В коридоре стучали другие каблуки. Звенели стеклом. Рядом сосед по койке Елянюшин шаркал тапочками, собирался на уколы. Он чего-то хотел от Рублева:

— Ты что пожух, выше нос. Эта, твоя-то, с картинки списанная. На коробке конфет видел. Марья Моревна — морская царевна.